



КОМЕНДАНТ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕУЛКА

Ночью стало известно, что к городу подходят гитлеровцы, и горожане с рассветом

начали торопливо покидать свои дома.

Они уходили целыми семьями, обвешанные сумками и узлами, гоня перед собою домашний скот. Было тихое нежаркое утро с круглыми облачками и лиловыми полосками дождя у горизонта. Город, когда на него смотрели издали, казался удивительно спокойным и благополучным, его сады весело зеленели. По обе стороны полевой дороги мелькали задумчивые ромашки, клевер, дикий горошек, нескошенные травы одуряюще пахли. Люди останавливались у края дороги, садились, слушая, как далеко-далеко, на железнодорожном узле, едва различимо гудят тревожные гудки и хлопают зенитки, затем вставали и шли дальше. Дорога на протяжении десяти километров превратилась в пеструю шевелящуюся ленту. Плакали дети, блеяли козы; вялый ветер вре-

менами задирали тяжелую бурую пух и тотчас затихал. Людей было так много, что пока задние выбирались из крайних переулков слободы, передние уже миновали попутную деревушку и затерялись где-то среди однообразных холмов.

Фашисты в город не вошли — их отбросили назад. Но в городе каждый день было по несколько воздушных тревог, и весь он — изрытый, развороченный — выглядел так странно и одичало, что горожане не спешили возвращаться обратно. Они остановились в соседнем районе и разбрелись по его селам и деревням.

Опустевшие улицы и площади жили почти фантастической жизнью. В некоторых кварталах осталось не больше чем по пяти человек. Тротуары, по которым никто не ходил, зарастали мелкой травой. Под окнами лежали кучи битого стекла, и некому было их убрать. Прохожие, если они встречались на безлюдной улице, внимательно осматривали друг друга и, уже разойдясь, по несколько раз оглядывались назад. В городе оставалось немало работников милиции, горкома партии, горсовета, но их как-то не было заметно. Если где-нибудь на мертвой, залитой солнцем улице среди развалин медленно двигался человек в форменной гимнастерке, в сапогах и с кобурой у пояса — его появление казалось таким же неправдоподобным, как все эти сплюснутые, без крыш дома, распахнутые двери и окна без стекол. Только одна природа жила по-прежнему. Стояли чудесные дни — перепархивали легкие дожди, облака блестели, как серебро, и сады гнулись под тяжестью густой, свежей листвы.

Больше всего опустел городской квартал, носивший название Зеленого переулка. Он был довольно велик — четырнадцать домов, и в нем осталась только одна старуха. Эту старуху звали Павлихой. Ее сын был на фронте, а вдовья дочь с двумя детьми ушла из города сразу после бомбежки. Дочь звала с собой Павлиху, но несговорчивая старуха, покачав головой, объявила, что ей идти некуда и незачем, и никуда не пошла.

Павлихе перевалило за шестьдесят. Это была высокая женщина с сухим бронзовым лицом, похожая на индианку. Она отличалась хмурым, необщительным характером и обычно весь день молча возилась около печки. В свободное время она выходила за ворота стеречь кур и поросенка. Это было ее любимое занятие. Павлиха сидела на траве, вытянув жилистые ноги, напустив на лоб черный с бе-

лыми горошинками платок, и что-то древнее было в ее суровой, прямой фигуре. Внучата кувыркались на траве — старуха глядела на них, не разжимая губ, и лишь изредка шевелила острым подбородком. О чем она думала в эти минуты? Скорее всего ни о чем: ее время проходило в бездумно-созерцательном оцепенении. Но стоило кому-либо из ребят, своих или чужих, испугнуть петуха, обидеть поросенка — Павлиха вскакивала на ноги и, схватив виновного, жесткой рукой отвешивала ему несколько шлепков. После этого она молча возвращалась на свое место и, не обращая внимания на ребячий плач, снова погружалась в оцепенение. Дети и взрослые жители переулка не любили старуху.

В первые месяцы войны в переулке появилась новая обитательница — беженка с Украины — молодая женщина с трехлетней девочкой. Она поселилась в домике, стоявшем рядом с Павлихиным жильем. Это было нервное, подвижное существо с быстрыми черными глазами и порывистыми движениями. Украинка каждую свободную минуту проводила в болтовне с соседками. Смеясь и всхлипывая, она рассказывала им о своем муже — лейтенанте, о родной станице, о том, что там «о-о-т яки вишни»; ее голос был певуч, речь стремительна, и, рассказывая, она одновременно поправляла выбившиеся из-под платка волосы, сбрасывала слезинку и крепко встряхивала на руках свою хныкающую дочь. Павлиха с первых дней почувствовала к новой соседке глухую неприязнь. Украинка тоже, видимо, недолюбливала старуху, — это чувствовалось по ее косым взглядам исподлобья. Вскоре пришла и настоящая ссора. Однажды украинка, увлекшись разговорами, спустила свою дочь с рук, и девочка погналась за Павлихиными курами. На ее пути сразу появилась Павлиха. Старуха по привычке вытянула костлявую руку, но украинка, прыгнув вперед, стала перед ней, взволнованная и растрепанная.

— Не смеешь бить дитю! — крикнула она, хватая Павлиху за руку. — Вот, говорю, не смеешь!

Старуха молча смотрела на нее бесцветными глазами.

— Бей своих! — кричала украинка. — Ты имеешь право бить? Чье это дите? Где отец? Ты подумала, где ее отец? Может, нет его теперь, может, лежит он, порубанный, и не видят его глазыньки билого свита. Ты что?.. А ты была под пулями, а ты слыхала, как бомбы свистят?.. Шепчешь все... Богу молишься... На травке сидишь...

Она кричала, кричала, сбиваясь на родной говор, и рвалась вперед и дергала себя за ворот. Ее косы распустились, на губах пузырилась слюна. Старуха смотрела на нее высокомерно, сверху вниз, словно видела перед собой облачко пыли, поднятое вздорным ветром.

— Ты следи за девчонкой, — сказала она. — Нельзя баловать.

Украинка с силой дернула дочь за руку.

— А вот не смеешь! Не будет по-твоему! Плохо тебе — уйди... Молись богу...

Павлиха повернулась к ней спиной. Отходя, она сказала только одно слово. В этом слове слилось все ее презрение к этой скороговорке, непонятной взволнованности и всей чуждой манере украинки:

— Сорока!

И вот теперь не стало ни украинки, ни ее дочери; весь переулочек опустел, и Павлиха осталась его единственной обитательницей.

Проводив дочь, она долго сидела перед столом, задумчиво выковыривая из его трещин хлебные крошки. Где-то жужжала муха, тень оконной рамы медленно передвигалась по столу. Павлиха машинально убрала грязную посуду и опустила руки: что делать дальше? Ничего не надумав, она вышла на улицу. Солнце стояло на полдне, было жарко и тихо. Все окна в переулке были прикрыты ставнями или забиты листьями железа. На углу, где упала бомба, громоздилась куча обгорелых бревен и досок, среди них виднелась придавленная утварь — комод, кровать с периной, смятые ведра. Откуда-то вывернулась тощая собака, волокущая огромную кость с клочьями свежего мяса. Павлиха цыкнула на нее, и собака шмыгнула за угол. Старуха посмотрела ей вслед: откуда же кость? Ага, у хозяина разбомбленного дома на дворе часто стояла лошадь. Павлиха подошла к развалинам, набрала мелких дощечек и поплелась обратно. Дома она очистила несколько картофелин, сварила похлебку и, поевши, снова принялась выковыривать из стола хлебные крошки.

Перед вечером Павлиха вышла за калитку и села на траву. Тихо-тихо было в переулке — ни ребятишек, ни кур, ни поросенка. Старуха просидела в окаменении два или три часа. Когда солнце стало прятаться за крыши, она вернулась домой и легла на сундук. Но ей не спалось. Ночью была страшная духота, сверкали зарницы, глухо прокатывался гром. Перед рассветом началась воздушная

тревога. На станции тоскливо были паровозы, люто били зенитки. Старуха из дома не пошла. Она сидела на сундуке и упорно смотрела на светлеющее небо. Когда кончилась тревога и совсем рассвело, она еще раз сходила к развалинам и набрала в подол новый запас дощечек и щенок.

Так прошло несколько дней. Переулочек все еще пустовал. Жара усиливалась — она наполняла воздух вязкой, давящей тяжестью. Павлиха еще более высохла и загорела, ее бронзовое лицо стало коричневым, как глина. Старуха постепенно привыкла к тишине и одиночеству. Она ежедневно варила свою похлебку, сидела возле калитки или ходила к развалинам за дровами. Ее тусклые, ушедшие внутрь глаза медленно скользили по знакомым домам, заборам, воротам, а подбородок слегка шевелился. За последнее время старуха привыкла бормотать себе под нос. Казалось, что она молится. Но вряд ли это была молитва: Павлиха мало думала о боге и о божественном и всегда довольствовалась несколькими торопливыми, почти машинальными крестиками, которыми она обмахивала себя рано утром и по вечерам. Скорее всего, она бормотала о том, что видела вокруг себя, — о заброшенных домах, о покинутом, погибающем добре. Однажды, подойдя к разбитому дому, она увидела, что из перины, зажатой между рухнувшими бревнами, лезут мелкие перья. Лицо старухи жалостно сморщилось, она покачала головой и негромко, скрипуче произнесла:

— Вот горе-то, какое горе!

Раз в два-три дня приходилось ходить за водой. Колодки не работали, и старуха спускалась к ручью, который протекал в конце переулочка. Здесь бил светлый родничок, окруженный высокими и острыми травами. Старуха наполняла ведро и стояла некоторое время, щурясь на солнечные блески, слушая, как лепечет спокойная вода. Как-то раз, стоя у ручья, она заметила какой-то странный предмет, лежавший в траве. Она нагнулась, посмотрела. Это была маленькая куколочка, глиняный человечек, одетый в пестрые лоскутья. Старуха сразу узнала куколочку. Этой игрушкой забавлялась дочь украинки. Наверное, она ходила вместе с матерью к ручью и забыла здесь свою забаву. Старуха хотела было поднять куклу, но раздумала и выпрямилась, поджав губы. «Что мне до чужого дела», — подумала она сердито.

Подняв ведро, Павлиха пошла прочь от ручья. Вер-

нувшись домой, она все время думала о куколке. Девчонка всегда возилась с этой игрушкой. Бывало, возьмет ее на руки, закутает в тряпочки и начнет качать. Качает и тянет: «а-а-а, а-а-а!» Лицо у девчонки круглое, глаза черные и лукавые, она косится на мать и точно спрашивает: видишь, как я тебя передразниваю? Мать заметит это, сперва нахмурится, а потом обхватит дочь и повалится вместе с нею на траву. Валяются, хохочут. Вдруг вскочит украинка, посадит девочку на колени и начнет приговаривать: «Галя ты, моя Галюся, глупая Галинка, одни мы с тобой на свете, нет нашего папки. Ну, погоди, вот кончится война, вернется папа». Девчонка притихнет, обнимет мать за шею. «Когда вернется папа?» Так сидят они, качают друг дружку, то всплакнут, то засмеются, а у их ног валяется забытый кукленок.

«Господи, твоя воля...» — вздыхала старуха. Странные, беспокойные мысли приходили ей в голову — мысли об украинке, о ее маленькой дочке. Вздорная эта украинка, чистая сорока, но зато и досталось ей — дальше некуда. Всем теперь достается — и вздорным, и толковым, и плохим, и хорошим. Бог с ней, с украинкой! Вот девчонка-то, девчонка за что мается? Где теперь она странствует, по каким местам? Небось, хватилась своего кукленка, плачет, глупая...

Старуха побрела к ручью и подняла куклу. С недоумением посмотрела она на игрушку. Что с нею делать? Видно, надо куда-то спрятать, чтобы не нашли чужие люди. Пусть порадуетса девчонка, если вернется. Старуха медленно прошла мимо домика, в котором жила украинка, посмотрела на калитку. Нет, здесь класть нельзя, могут унести. Подобрала юбки, она перебралась через расщепленный забор и очутилась на соседском дворе. Возле порога росли густые лопухи. Старуха сунула куколку под самый большой лопух и уж собралась уходить, как вдруг случайно взглянула на дверь. Перекладина, прибитая поперек двери, отстала с одной стороны и едва висела на ржавых, погнутых гвоздях. Верно, прибивали ее второпях, неумелыми руками, а когда прибили, то не попробовали — держится ли. Старуха неодобрительно шевельнула подбородком. Чудаки хозяева! А если придет недобрый человек? Он не спросит, кто здесь живет, — очистит дом до последней нитки. Старуха пожевала губами, подумала: «Что мне до чужого дела» — и, не оглядываясь, пошла восвойси.

Приближалось время обеда. Старуха очистила одну

картофелину, взялась за другую и вдруг положила нож. Медлительно, точно раздумывая над каждым своим движением, она сняла с полки молоток и вышла из дома. Подойдя к разрушенному зданию, она повозилась в мусоре и выбрала несколько больших, крепких гвоздей. После этого она направилась к жилью украинки. Она поправила перекладину и принялась прибивать отставший конец. Руки ее были достаточно крепки, сноровки хватало. Закончив свою работу, Павлиха потянула за перекладину. Нет, не отскочит. Старуха внимательно осмотрела дверь и побрела обратно.

После обеда Павлиха вздумала подремать. Но ей не спалось. Она поворочалась с боку на бок на сундуке. Нудно жужжала муха, капало из подтекавшего ведра. Старуха подумала несколько минут, взяла молоток, оставшиеся гвозди и вышла на улицу. Она неторопливо шла по переулку, осматривала двери и окна, трогала ставни. В одном месте отставал плохо прибитый железный лист, в другом приоткрылась ставня, в третьем упала подворотня. Старуха останавливалась и устраняла все эти неполадки. В конце переулка ей встретилась незамкнутая калитка. Павлиха вошла во двор. На тропинке, ведущей к дому, валялись разбросанные вещи — чья-то майка, носки, детский башмак. Как видно, хозяева обронили их, торопясь уйти из города. Старуха собрала вещи и спрятала их под деревянный порог.

Обойдя переулок, Павлиха свернула за угол и пошла вокруг всего квартала. Она зорко осматривалась по сторонам, и ей все время смутно представлялось, что квартал — одно общее хозяйство, а она — его главная хозяйка. Это была очень странная, но навязчивая мысль, и старуха, сама не замечая, мало-помалу проникалась сознанием того, что она так же отвечает за целостность и сохранность этого хозяйства, как до сих пор отвечала за свои чугушки и ложки. Ей так нравилось это новое сознание, что она не удовлетворилась дневным обходом и ночью, когда ее мучила бессонница, поднялась с постели и еще раз обошла весь квартал.

С той поры так и повелось. Павлиха и днем и ночью проверяла свое хозяйство. Ночи были тихие и теплые, старуха брела босиком, опираясь на большую суковатую палку. Спешить было некуда, и она останавливалась около каждого дома. Все молчало, лишь иногда откуда-то доносился собачий лай. Старухе казалось, что она одна на

целом свете. Она опиралась подбородком о палку и начала думать о бывших хозяевах квартала, о его больших и малых обитателях. Где они теперь? «Вот, жили, думали, что умней их нет,— размышляла Павлиха,— ан нет, брат... Умны-умны, а без старухи не обошлось. Ну, ладно, странствуйте пока, а старуха покараулит. У старухи ничего не пропадет, не-ет!» И ей начинало казаться, что обитатели переулка неразумны, как маленькие дети, и все до одного нуждаются в ее опеке. Так когда-то были глупы и беспомощны ее собственные ребятишки. Старуха скорбно улыбалась: эти мысли были ей и приятны и горьки.

Однажды Павлиха попала под ночную бомбежку. Плотные тучи окутывали небо, и гитлеровцы сбросили светящиеся ракеты. Над улицей висела гирлянда ослепительно ярких фонарей; дома, заборы, деревья были залиты мертвенным, красноватым светом. Старуха остановилась у закрытой калитки, где ее захватили тревожные гудки, и замерла, как изваяние. Ее освещало со всех сторон, но она даже не пыталась уйти в тень. Когда взрывы раздавались совсем близко, она раскрывала рот, ловя воздух; когда наступало затишье — опускала глаза и задумывалась о жителях переулка и о том, что за последнее время почему-то часто приходило ей в голову,— о своей ранней молодости.

Как-то раз во время дневного обхода Павлиха встретила двух милиционеров. Они с удивлением посмотрели на старуху.

— Здорово, бабка! — крикнул один из них.— Ты что здесь делаешь?

Павлиха, не отвечая, шла прямо на них. Милиционеры недоумевающе рассматривали ее черные ноги, подоткнутую юбку, палку, размеренно постукивающую о пыльную дорожку.

— Ты откуда, бабушка?

— Живу здесь,— ответила старуха останавливаясь.

— Живешь? Одна?

— Одна.

— А что ты здесь делаешь?

— Караулю.

— Вот дело!.. А как тебя звать?

— Павлихой зовут,— сдержанно ответила старуха.

Милиционеры переглянулись. Они были крепкие, коренастые, и старуха стояла перед ними, как высохшая, закопченная жердь. Один милиционер улыбнулся.

— Ишь ты... А как ты караулишь? Не страшно тебе?

— Я не боюсь, — ответила Павлиха.

— И все цело?

— Пропаж не было.

— Ну, молодец бабка. Помогай нам. Скоро народ начнет возвращаться. Вот только снасть у тебя... — милиционер покосился на Павлихину палку, — снасть у тебя неважная. Что с тобой делать? Наган, что ли, дать?

Шутка показалась Павлихе неуместной. Она промолчала.

— Ну, прощай, бабушка, — сказали милиционеры. — Мы еще наведаемся. Поглядывай тут...

Они ушли, покачивая головами, разговаривая на ходу.

— Вот каляная старуха!

— Настоящий комендант...

Милиционеры приходили еще несколько раз. Они спрашивали старуху о том, не скучает ли она в одиночестве, не хворает ли. Весть о старухе мало-помалу стала распространяться по соседним переулкам и улицам.

Павлиха ничего этого не знала. Ей было не до пустяков. За последнее время ее голова была занята новыми мыслями и соображениями. Ей казалось, что приближается главный, важнейший час ее служения, что скоро придет «он» — недобрый, злоумышленный человек. Она не задумывалась над тем, откуда взялась эта мысль, — просто верила и ждала.

И Павлиха не ошиблась — «он» действительно пришел. Это было ранним утром, вскоре после восхода солнца. Старуха шла мимо разбитого дома и вдруг увидела, что среди развалин возится незнакомый человек. Приподняв бревно, он с усилием тащил к себе пару новых мужских сапог. Оборванный и лохматый, с небритым, опухшим лицом, он был похож на чудовище, которое родилось где-то во мгле засыпанного погребка. Старуха остановилась перед развалинами.

— Эй, как тебя! — крикнула она резко и скрипуче. — Тебе чего там надо?

Незнакомец вздрогнул, поднял голову. Увидев старуху, он оправился от смущения, однако бросил сапоги и медленно вышел на дорогу.

— Ты что там делаешь? — спросила старуха.

Незнакомец заискивающе и примирительно улыбался.

— Ты откуда, бабушка, здешняя, что ли?

У него были маленькие, красные глаза и толстые губы.

Старуха посмотрела на него минуту и подошла к развалинам.

— Уйди отсюда! — сказала она.

Незнакомец все еще улыбался.

— Зачем мне уходить?

— Уйди! — повторила старуха громче. — Ну?

В глазах у незнакомца появилась угроза.

— Ты не шебурши, старая, а то как толкану тебя...

Ярость охватила Павлиху. Подбородок ее запрыгал, и вся она затряслась с головы до ног. Замахнувшись палкой, она двинулась на незнакомца.

— Ты уйдешь отсюда, анчихрист? Ворюга!.. Сейчас людей кликну.

Незнакомец пугливо оглянулся.

— Чего ты шумишь, бабка? Что я тебе мешаю?

— Уйди! — кричала старуха. — Сейчас позову народ... Уходи, чтобы духу твоего здесь не было!..

Он попятился перед нею, отступил на несколько шагов. Старуха шла за ним, размахивая палкой.

— Анчихрист проклятый! — кричала она на весь переулочек. — Дерьмо несчастное! Люди мучаются, а ты по дворам шаришь, падали ищешь... Гитлеряка поганая!..

Он отступал и отступал. Когда они оказались посередине переулочка, незнакомец метнул глазами направо и налево и вдруг, изогнувшись, кинулся на старуху. Павлиха попыталась его оттолкнуть, но мужчина был сильнее ее. Его пальцы охватили сухую старушечью шею. Что-то хрустнуло у Павлихи в горле, и старуха, обессилев, откинулась назад.

Она молча свалилась на землю, и вслед за нею тяжело рухнул мужчина. Они бились и ворочались в пыли, а на углу уже слышались тревожные окрики, свистки и торопливый топот чьих-то ног. Старуха стала задыхаться, как вдруг пальцы, сжимавшие ее горло, ослабели и разжались.

— Бабка, ты жива? — проговорил кто-то.

Павлиха через силу открыла глаза. Возле нее на коленях стоял знакомый милиционер. Его товарищ, навалившись на незнакомца, быстро связывал ему руки.

— Ну, вовремя успели, — говорил милиционер, тяжело дыша и взглядывая то на старуху, то на незнакомца. — Хорошо, что крик услышали, а то бы... Кости-то целы, бабушка? А это, значит, мародер? Ну, хорошо, голубчик, хорошо, мы с тобой погово-ри-им...

Павлиха оперлась на локоть, с трудом села, а потом

кое-как поднялась на ноги. Она потерла горло, затем отряхнула запыленную юбку. Милиционеры скрутили и повели мародера — она даже не взглянула ему вслед.

...После первой бомбежки прошло восемнадцать дней. Жители начали возвращаться в город. Однажды, сидя в кухоньке, Павлиха услышала на улице стук колес. Она выскочила за калитку. По переулку, толкая перед собою ручную тележку с домашним имуществом, шел ее сосед — старый сапожник. Его сопровождала семья. Сосед едва заметил Павлиху. Озабоченный, с нахмуренным лицом, он быстро подкатил к своему домику и начал отрывать перекладки от забитой калитки. Домашние помогали ему. Павлиха издали наблюдала за ними. Теперь соседи уже не казались ей беспомощными, неразумными детьми, как несколько дней тому назад, — в каждом их движении чувствовались настоящие хозяева. Они действовали ловко и уверенно. Старуха видела, как открылась калитка, распахнулись ворота и тележка, поскрипывая, въехала на заросший травой двор. Когда ворота снова захлопнулись, старуха повернулась и пошла домой. У нее было такое чувство, будто она сейчас с рук на руки сдала часть большого хозяйства, которым ей было доверено управлять. Ей было приятно, что это хозяйство уцелело, и в то же время было чего-то жаль.

На другой день вернулись еще два обитателя переулка с семьями, на третий — четыре. Они, как и сапожник, мимоходом здоровались со старухой и тотчас брались за свои дела. Старуха видела, как оживают дом за домом, как в переулке начинают рыться куры, бродить козы, и ей все время казалось, что она по частям сдает свое большое хозяйство.

Вернулась и украинка. Улучив удобную минуту, Павлиха поманила к себе маленькую Галю.

— Ступай поищи в лопухах сбоку порога, — сказала она девочке. — Там твой кукленок лежит.

Девочка отыскала куклу и, обрадованная, кинулась к матери.

— Мама, мама!.. — кричала она. — Смотри, вот...

Украинка пронзительно взглянула на Павлиху, но старуха, как ни в чем не бывало, смотрела в противоположную сторону.

После всех вернулась Павлихина дочь. Старуха равнодушно расцеловалась с нею и тотчас занялась курами.

— Ну, как тут жили, мамаша? — спросила дочь.

— Ничего... — ответила старуха.

Дочь знала свою мать и уже не возобновляла рас-спросов.

Переулок ожил. Возле раскрытых калиток разговари-вали женщины, ребятишки кувыркались на зеленом пригорке. Павлиха вышла на улицу, гоня перед собою кур и поросенка. Она села на траву, напустила на лоб платок и погрузилась в оцепенение — сухая, с бесстрастным бронзовым лицом, более, чем когда-либо, похожая на ин-дианку.